

I. Завербованные

Был вечер 10 марта 1793 года.

Пробило десять на башне собора Парижской Богоматери. И удары курантов, словно ночные птицы, один за другим отлетали из бронзового гнезда своего — грустно, монотонно.

Тихая, но холодная и туманная ночь набросила свой покров на Париж.

Сам Париж был не тот, что ныне, — ослепляющий по вечерам тысячами огней, которые отражаются в позолоченной ими слякоти; Париж озабоченных пешеходов, веселого шепота, вакхических предместий — рассадников дерзких смут, отважных преступлений. То был Париж стыдливый, робкий, чем-то озабоченный. Редкие прохожие боязливо перебежали из одной улицы в другую, торопливо скрывались в подъездах или подворотнях своих домов, словно дикие звери, бросавшиеся в свои норы, почуяв охотника.

Одним словом, это был, как мы уже отметили, Париж 10 марта 1793 года.

Скажем несколько слов о неожиданных обстоятельствах, так резко изменивших облик столицы. Затем начнем рассказ о происшествиях, положивших начало этой истории.

Франция после казни короля Людовика XVI восстановила против себя всю Европу. К трем врагам, с кем она прежде воевала — Пруссии, Австрии и Пьемонту, — присоединились Англия, Голландия и Испания. Лишь Швеция и Дания хранили свой обычный нейтралитет, наблюдая действия Екатерины II, уничтожавшей самостоятельность Польши*.

Положение было ужасное. Франция была обессилена и не представляла для них опасности. И в нравственном отношении ее перестали уважать после сентябрьской резни* 1792 года и казни короля 21 января 1793-го*. Буквально вся Европа осадила ее, словно какой-то захудалый город. Англия была у ее берегов, Испания у Пиренеев, Пьемонт и Австрия у Альпийских гор, а Голландия и Пруссия на севере Нидерландов. Только

в районе Верхнего Рейна и Шельды 250 тысяч воинов выступили против республики.

Французские генералы были всюду разбиты. Мачинский оставил Ахен и отступил к Льежу. Штейнгеля и Нейлли преследовали до Лимбурга. Миранда, осадивший было Маастрихт, ретировался к Тонгру, Валанс и Дампьер вынуждены были отступить, бросив обозы. Более 10 тысяч солдат дезертировали из армии и перешли к неприятелю. Конвент, надеясь лишь на генерала Дюмурье, готовившего вторжение в Голландию, отправлял к нему гонца за гонцом с приказанием оставить берега Бисбооса и принять командование над мозельской армией.

У Франции, словно у живого организма, было больное сердце, и этим сердцем был Париж. В нем больно отдавался каждый удар, наносимый в самых отдаленных пунктах. Он страдал от вторжения неприятелей и от внутренних смут, мятежей и измен. Любая победа сопровождалась пышным торжеством, всякая неудача — неистовым страхом. Поэтому нетрудно понять, какое волнение вызвали известия о поражениях, следовавших одно за другим.

Накануне, 9 марта, в Конвенте было бурное заседание. Всем офицерам отдали приказ немедленно отправиться к своим полкам, и неистовый Дантон, заставлявший свершать невозможное, Дантон, взойдя на кафедру, с жаром произнес:

— Не хватает солдат, говорите вы?! Дадим Парижу шанс спасти Францию, попросим у него тридцать тысяч человек, отправим их к Дюмурье, и тогда не только будет спасена Франция, но падет Бельгия, а Голландия и так наша!

Предложение было принято с восторженными криками. Началась запись добровольцев во всех городских секциях. Театры — не до развлечений в час опасности — были закрыты, а на городской ратуше вывесили черный флаг в знак бедствия.

К полуночи 35 тысяч имен были вписаны в реестры.

Но и в этот вечер случилось то же, что в сентябрьские дни: в каждой секции завербовавшиеся волонтеры требовали, чтобы изменники были наказаны до их отправки в армию.

Изменниками были тайные заговорщики, угрожавшие революции. Вес этого слова зависел от значения и влияния

партий, раздиравших в эту эпоху Францию. Изменниками были самые слабые. А так как самыми слабыми были жирондисты, то монтаньяры (депутаты Горы) решили, что жирондисты и являются изменниками.

На другой день, 10 марта, все депутаты-монтаньяры явились на заседание. Вооруженные якобинцы заполнили трибуны, изгнав оттуда женщин; когда явился мэр во главе совета общественного благоустройства, он подтвердил представление комиссаров Конвента относительно преданности граждан, но повторил желание, единодушно изъявленное накануне, — об учреждении Чрезвычайного трибунала для суда над изменниками.

Громкими возгласами Гора потребовала донесения от тут же собравшегося Комитета, и спустя минут десять Робер Лендэ объявил, что будет назначен трибунал в составе десяти членов, не подчиненных никаким правовым формам, которые будут собирать все сведения любыми путями. Этот трибунал, разделенный на два непрерывно действующих отделения, будет преследовать, по указанию Конвента, всех, кто покусится ввести в заблуждение народ.

Жирондисты поняли: это им приговор. Они восстали.

— Лучше умереть, — восклицали они, — чем согласиться на учреждение этой венецианской инквизиции!

В ответ монтаньяры громко требовали провести голосование.

— Да, — вскричал Феро, — да, соберем голоса, чтоб показать всему миру людей, которые именем закона хотят губить невинных!

Собрали голоса, и неожиданно большинство объявило: 1) что будут присяжные, 2) что они будут избираемы поровну от каждого департамента и 3) утверждены Конвентом.

Только приняли эти предложения, как раздались страшные крики. Конвент уже привык к посещениям черни. Он послал спросить, чего хотят от него; ему отвечали, что это депутация от волонтеров, которая, отобедав на хлебном рынке, просит разрешения пройти перед Конвентом церемониальным маршем.

В ту же минуту распахнулись двери и явились шестьсот человек, вооруженных саблями, пистолетами и пиками, — все полупьяные. Они прошли под рукоплескания, громогласно требуя смерти изменникам.

— Да, — отвечал им Колло д'Эрбуа, — да, друзья мои, не зная на все козни, мы спасем вас, вас и свободу!

Он говорил, глядя в сторону жирондистов, давая им понять, что они в опасности.

В самом деле, по окончании заседания Конвента депутаты Горы рассеялись по разным клубам, побежали к кордельерам и к якобинцам, предлагая лишить изменников всех законных прав и умертвить в эту же ночь.

Жена Лувэ* жила на улице Сент-Оноре, поблизости от якобинцев. Услышав возгласы, она явилась в клуб, узнала о предложении и, вернувшись, поспешила предупредить своего мужа. Лувэ берет оружие, бросается из двери в дверь, чтобы предупредить своих друзей, не застает никого дома, но, узнав от прислуги одного из них, что они у Петьона, тотчас же отправляется туда и находит их спокойно обсуждающими какое-то предложение, которое намеревались сделать на другой день в надежде, что сумеют набрать им большинство голосов и проект пройдет. Он рассказывает им обо всем, что творится, о своих опасениях, о замыслах якобинцев и кордельеров и в заключение призывает принять какие-нибудь сильные меры.

Тогда Петьон встал, спокойный и хладнокровный, как всегда, подошел к окну, отворил его, взглянул на небо, высунул руку и, почувствовав, что ее смочило, проговорил:

— Дождь идет, нынешней ночью ничего не случится.

В это полуотворенное окно донесли последние удары пробивших на башне 10 часов.

Итак, вот что случилось в Париже накануне и в этот самый день; вот что происходило вечером 10 марта, вот почему в этой влажной темноте, в этом грозном безмолвии дома, чье предназначение быть кровом для живых, подернулись каким-то мраком, оцепенели и походили на склепы.

В самом деле, многочисленные патрули национальной гвардии с ружьями наготове, толпы граждан, наскоро вооруженных чем попало, теснились чуть ли не у каждого ворот, у растворенных входов в аллеи, блуждали в ту ночь по городу. Чувство самосохранения вселяло каждому мысль, что замышлялось что-то необъяснимое и ужасное.

Мелкий и холодный дождь, тот, что успокоил Петьюна, усугубил дурное настроение патрулей, которые, завидев друг друга, брали ружья на изготовку, на всякий случай готовясь к бою, и, лишь настороженно, недоверчиво сблизившись, узнав друг друга, как бы нехотя обменивались паролем и отзывом, а потом, беспрестанно оглядываясь друг на друга, словно опасаясь нападения с тыла, расходились.

В этот вечер, когда Париж был под влиянием панического страха, возобновлявшегося так часто, что ему пора бы, кажется, свыкнуться с ним; в этот вечер, когда втихомолку шли переговоры об истреблении всех нерешительных революционеров, тех, кто подал голос за осуждение к смерти короля, но не решился осудить на смерть королеву, заключенную со своими детьми и свояченицей в темницу Тампля, — в этот вечер по улице Сент-Оноре крадась женщина в ситцевой лиловой с черными мушками мантилье. Голова ее была покрыта или, лучше сказать, закутана краем той же мантильи; всякий раз, когда вдали показывался патруль, она пряталась в каком-нибудь углублении ворот или за углом стены и стояла неподвижно, как истукан, затаив дыхание, пока солдаты проходили мимо, потом снова продолжала свой быстрый и тревожный бег, пока новая опасность не вынуждала ее опять прятаться и неподвижно, безмолвно выжидать.

Таким образом, благодаря своей осторожности, никем не замеченная, она пробежала часть улицы Сент-Оноре и вдруг, повернув на улицу Гренель, наткнулась не на патруль, а на компанию храбрых волонтеров, отобедавших на хлебном рынке, патриотизм которых был возбужден бесчисленными тостами, поднятыми в честь будущих побед.

Бедная женщина, вскрикнув, попыталась скрыться в улицу Дю-Кок.

— Эй, эй, гражданка! — вскрикнул начальник волонтеров. Чувствовать над собой власть стало врожденной привычкой. Поэтому даже эти свирепые люди избрали себе начальника.

— Эй, куда ты?

Женщина, не отвечая, продолжала бежать.

— Готовься! — закричал начальник. — Это переодетый мужчина! Какой-нибудь скрывающийся аристократ!

Стук двух или трех ружей, беспорядочно, неумело вскинутых дрожащими руками, дал понять женщине о готовности выполнить роковую команду.

— Нет, нет! — вскричала она, тут же остановилась и пошла назад. — Нет, гражданин, ты ошибаешься, я не мужчина.

— Ну, так слушайся команды, — сказал начальник, — и говори правду. Куда ты так летишь, ночная красавица?

— Никуда, гражданин, я иду домой.

— А, ты идешь домой?

— Да.

— Для порядочной женщины поздненько возвращаешься, гражданка.

— Я иду от больной родственницы.

— Бедная кошечка, — сказал начальник, сделав такое движение рукой, что испуганная женщина отскочила. — А где ваш пропуск?

— Мой пропуск? Какой, гражданин? Что ты этим хочешь сказать и чего требуешь?

— Разве ты не читала постановление?

— Нет.

— Ну, так ты слышала, как его оглашали?

— Тоже нет! Что в этом постановлении, боже мой?

— Начать с того, что говорят не «боже мой», а «Высшее существо».

— Виновата, ошиблась. Это по старой привычке.

— Привычка аристократов.

— Постараюсь исправиться, гражданин. Но ты говорил?..

— Я говорил, что постановлением Коммуны запрещено после десяти часов вечера выходить без пропуска. При тебе ли он?

— Нет.

— Ты его забыла у своей родственницы?

— Я не знала, что надо иметь этот пропуск при себе.

— Ну, так пойдем до первого караула, там ты приветливо объяснишься с капитаном, и если он останется доволен тобой, то прикажет двум солдатам проводить тебя до твоего дома, а не то оставит при себе, пока наведут подробные справки. Ну, живо, налево кругом, шагом марш!

Судя по боязливому восклицанию арестованной, начальник добровольцев понял, что бедной женщине эта мера показалась ужасной.

— О-го-го! — сказал он. — Я уверен, что в наших руках какая-то знатная дичь! Ну, ну, вперед, моя красавица!

Начальник схватил арестованную под руку, невзирая на жалобные крики и слезы, и повлек к караулу дворца Эгалите.

Конвой уже находился недалеко от заставы Сержан, как вдруг молодой, высокого роста мужчина, закутанный в плащ, вышел на улицу Круа-де-Птишан в ту самую минуту, когда арестованная пыталась вымолить свободу. Но начальник волонтеров беспощадно тащил свою жертву, не внимая ее словам. Женщина вскрикнула, и в этом крике отразились страх и страдание.

Молодой человек увидел эту борьбу, услышал вопль, мигом перешел с одной стороны улицы на другую и очутился перед небольшим отрядом.

— Что вы делаете с этой женщиной? — спросил он того, который казался начальником.

— Прежде чем допрашивать меня, займись-ка лучше своим делом. Это тебя не касается.

— Кто эта женщина, гражданин, и чего вы от нее хотите? — повторил молодой человек с повелительной интонацией.

— Да ты-то сам кто, чтоб нас допрашивать?

Молодой человек отвернул с плеча плащ и показал блестящие эполеты на военном мундире.

— Я офицер, — сказал он, — как видишь.

— Офицер... чего?

— Гражданской гвардии.

— Ну и что? Нам-то что до нее? — отвечал один из волонтеров. — Зачем нам знать офицеров гражданской гвардии?

— Что он мелет? — спросил другой, растягивая слова, как это делают простолюдины, когда начинают сердиться.

— Он говорит, — парировал молодой человек, — что если эполеты не заставят уважать офицера, то сабля заставит уважать эполеты.

И неизвестный защитник молодой женщины, отступив на шаг и высвободив из-под складок плаща широкую и надежную пехотную саблю, блеснул ею при свете фонаря, потом быстрым движением, показавшим привычку обращаться с оружием, схватил начальника волонтеров за ворот карманьолки и, приставив острие сабли к его горлу, сказал:

— Теперь поговорим, как два добрых приятеля.

— Да, гражданин, — сказал начальник волонтеров, пытаясь освободиться.

— Предупреждаю, что при малейшем движении твоим или твоих людей я насквозь проткну тебя этой саблей.

Между тем двое волонтеров продолжали держать женщину.

— Ты спрашиваешь, кто я? — продолжал молодой человек. — На это ты не имел права, потому что не командуешь патрулем гарнизона. Но это к слову. Скажу тебе, кто я. Меня зовут Морис Лендэ; я командовал батареей канониров при деле 10 августа*, имею чин поручика национальной гвардии и занимаю пост секретаря в секции Братьев и Друзей. Довольно тебе этого?

— Эх, гражданин поручик, — отвечал начальник, чувствуя на горле острие сабли, — это дело другое. Если ты в самом деле тот, за кого себя выдаешь, значит, ты настоящий патриот.

— Я знал, что мы мигом пойдем друг друга, — сказал офицер. — Теперь отвечай, о чем кричала эта женщина и что вы с ней делали?

— Мы вели ее на гауптвахту.

— А зачем вели на гауптвахту?

— Затем, что у нее нет пропуска, а по последнему приказу Комитета приказано задержать всякого, кто после десяти часов вечера попадет на улице, не имея при себе законного документа. Разве ты забыл, что отечество в опасности и что на ратуше вывешен черный флаг?

— Черный флаг развевается на башне и отечество в опасности потому, что двести тысяч солдат готовы вторгнуться во Францию, — возразил офицер, — а не потому, что женщина бегаёт по улицам Парижа после десяти часов вечера. Но постановление действительно существует, и если б вы сперва сказали мне об этом, то встреча наша была бы короткой и мирной. Хорошо быть патриотом, но не мешает быть и вежливым. Граждане должны уважать офицеров, которых они сами избирали. Теперь ведите эту женщину, если хотите, вы свободны.

— Ах, гражданин! — схватив руку Мориса, вскричала женщина, все время с беспокойством следившая за распрей. — Ах, гражданин, не оставляйте меня во власти этих грубых и полупьяных людей.

— Хорошо, — сказал Морис, — вот вам моя рука, я провожу вас до караула.

— До караула? — с ужасом повторила женщина. — За что же вести меня туда, если я никому не причинила зла?

— Вас ведут в караул, — сказал Морис, — не потому, что вы причинили зло, не потому, что считали вас способной сделать его, но потому, что постановление Комитета запрещает выходить без пропуска, а у вас его нет.

— Но я этого не знала, сударь.

— Гражданка, в карауле добрые люди, которые будут с вами вежливы, с вниманием выслушают ваши оправдания. Вам нечего их бояться.

— Я уже не боюсь оскорблений, сударь, — сказала молодая женщина, сжимая руку офицера, — я страшусь смерти; если меня отведут в караул, я погибла.

II. Незнакомка

Эти слова были произнесены с таким отчаянием и силой, что Морис невольно вздрогнул. Проникновенные звуки этого голоса с силой электрического разряда отдались в глубине его сердца.

Он обернулся к волонтерам, которые совещались между собой. Стыдясь того, что один человек мог нагнать на них

столько страху, они рассуждали, как бы выбраться из этого положения. Их было восемь против одного. Трое имели ружья, остальные пики и пистолеты. У Мориса была лишь сабля. Бой был бы неравным.

Даже женщина поняла это; опустив голову на грудь, она тяжело вздохнула.

Что касается Мориса, он, насупив брови и презрительно сжав губы, стоял с обнаженной саблей в двойственном положении человека, которому чувства повелевают защитить женщину, а обязанности гражданина приказывают ее выдать.

Вдруг в конце улицы, как молния, блеснули штыки и слышались мерные шаги патруля, который, увидев скопище, остановился в десяти шагах, и голос капрала прокричал:

— Кто идет?

— Друг! — вскричал Морис. — Иди сюда, Лорен!

Тот, к кому обращался этот отзыв, быстро приблизился.

— А, это Морис! — произнес капрал. — Что ты, повеса, делаешь в эти часы на улице?

— Ты видишь, я только что вышел от Братьев и Друзей.

— Да, чтоб перейти в отделение сестер и приятельниц. Понимаю.

В час туманной ночи,
Только что луна
Взглянет тебе в очи,
Будь ты у окна.
Друг придет твой нежный
Скромною стопой.
Ручкой белоснежной
Дверь ему открой.

Вроде того, и так далее, не так ли?

— Нет, дружище, ты ошибаешься. Я шел прямо домой, как вдруг увидел, что гражданка вырывается из рук этих граждан волонтеров; я побежал узнать, что она сделала и за что ее ведут под стражей.

— Ну, так узнаю тебя в этом деле, — сказал Лорен. — «Французских рыцарей вот истинная доблесть!»

Потом обратился к волонтерам.

— А за что вы арестовали эту женщину? — спросил поэтический капрал.

— Мы уже объяснили поручику, — отвечал начальник отряда, — за то, что у нее нет пропуска.

— Ну! — подхватил Лорен. — Вот так важное преступление!

— Стало быть, ты не знаешь постановления, гражданин? — спросил начальник волонтеров.

— Знаю, знаю!.. Да есть и другое, которое уничтожает первое.

— А какое?

— Вот это:

Бог любви всем объявляет,
Что какой бы ни был час,
Он прекрасным позволяет
Обольщать без спросу нас!

— Ну, что ты скажешь об этом постановлении, гражданин? И правильно и убедительно.

— Так, но оно еще не принято. Во-первых, не помещено в «Мониторе»; к тому же мы не на Пинде и не на Парнасе. Наконец, гражданка может быть немолода и нехороша.

— Бьюсь об заклад, что все это у нее есть! — сказал Лорен. — Гражданка, докажи, что я прав, скинь свое покрывало и предоставь судить всякому, подходишь ли ты под это постановление.

— Ах, сударь, — промолвила молодая женщина, прижимаясь к Морису, — вы защитили меня от ваших неприятелей, теперь защитите от ваших друзей.

— Смотрите, пожалуйста, — сказал начальник волонтеров. — Она же прячется! Мне кажется, что она или сума переносная, или искательница ночных приключений.

— О сударь, — отвечала молодая женщина, показав при свете фонаря лицо обворожительной красоты и свежести. — Взгляните на меня, похожа ли я хоть на одну из тех, которых здесь назвали?

Морис был ослеплен. Еще никогда, даже во сне, не видел он подобной красоты. Незнакомка так же быстро опустила мантилью, как и подняла ее.

— Лорен, — прошептал Морис, — требуй выдачи арестантки, чтоб препроводить ее к твоему посту, ты на это имеешь полное право как начальник патруля.

— Понимаю, — промолвил молодой капрал, — мне достаточно намекнуть.

Затем обратился к незнакомке:

— Идемте, идемте, красавица, так как вы не хотите доказать нам, что подходите под это постановление, делать нечего, ступайте за нами.

— Как «ступайте за нами»? — подхватил начальник волонтеров.

— Да так, мы отведем гражданку к городскому замку, где наше караульное помещение, а там соберут о ней справки.

— Нет, — ответил начальник отряда, — она наша и должна быть под нашим присмотром.

— Эх, гражданин, гражданин, — сказал Лорен, — ведь мы того и гляди поссоримся.

— Сердитесь или не сердитесь, черт вас возьми, нам все равно. Мы истинные солдаты республики, и пока вы ходите дозором по улицам, мы идем проливать кровь за границей.

— Берегитесь, чтобы не пролить ее на пути, граждане, а это может случиться, если вы не решитесь быть повежливее.

— Вежливость есть добродетель аристократов, а мы санкюлоты, — отвечали волонтеры.

— Хватит, — сказал Лорен. — При дамах о таких вещах не говорят. Она, может быть, англичанка. Не сердись за мое предположение, моя ночная пташечка, — прибавил он, приветливо обратясь к незнакомке, — так сказал один:

Из поэтов из известных,
А я вторю без труда,
Англия страна прелестна
Средь огромного пруда.